

МЕТРОДИСКУРС

Михаил Рыклин

В «Эстетике» Гегеля есть интересные замечания, относящиеся к так называемой «символической архитектуре», в частности к построению самого известного произведения такой архитектуры, Вавилонской башни. Это сооружение претендовало на то, чтобы содержать смысл в себе, в собственной структуре, не пропуская его через субъекта (последнее более чем понятно — субъекта пока не существует). Содержанием и целью этого сооружения служила общность его строителей, которая в то время могла выразиться лишь архитектурно, т.е., по Гегелю, весьма несовершенным способом («ибо лишь в образе, соразмерном духу, находит удовлетворение законченный в себе дух и ограничивает себя в своем творчестве»¹, а таким образом *всегда* является индивид, личность). Не будучи в состоянии поставить перед индивидом «всеобщие существенные мысли», символическая архитектура теряется в бесконечности, безграничности своих проявлений. Неудивительно, что в конечном счете распадается и символизируемое ею социальное единство. Остается незавершенная и незавершаемая Вавилонская башня, устремленная в облака. Остается как символ того, что долгое время лишь внешним, *по необходимости насильственным образом объединяло* людей.

Архитектура в данном случае претендует на то, что дать не в состоянии, а именно явить во внешнем объединяющее людей начало, компенсировать отсутствие реального единства символически. Гегель пренебрежительно заявляет по поводу народов, участвовавших в построении Вавилонской башни следующее: «Копание земли, складывание вместе каменных глыб и как бы архитектурная обработка почвы играли такую же роль, какую у нас играют нравы, привычки и определенное законом государственное устройство. Такое сооружение вместе с тем символично, так как оно лишь намеком указывает на ту связь, которую представляет: в своей форме и в своем образе оно в состоянии выразить священное, само по себе объединяющее людей начало только внешним образом. В этом же предании сказано, что, собравшись для создания такого произведения, народы затем снова разбрелись»².

Не буду останавливаться на странном, неоправданно высокомерном сравнении «копания земли» с тем, что «у нас» является «определенным законом государственным устройством» (как если бы были народы, у которых нет никакого социального устройства, нравов и т. д.). Замечу лишь, что в этом абзаце сказано также нечто существенное о несовершенстве любой лишь внешне, т.е. насильственно объединяющей людей социальной связи, которая столь грубо исключала бы, выталкивала бы из себя индивида.

Гегель говорит в своих лекциях о чем-то весьма древнем, о библейском предании. Но древнее не является (во всяком случае, в логическом плане) привилегией древности. Если содержанием самостоятельного символического зодчества было объединение людей, их существующая пока еще только во внешней связи, то в качестве примера таких сооружений можно привести не только предание о Вавилонской башне или башне Бела, но и строительство в Москве XX века таких сооружений, как метро или Дворец Советов.

Аналогия представляется существенной, хотя и по необходимости неполной: в отличие от древнейших сооружений, реализованных прежде всего архитектони-

чески (окружающая их строительство речь выразилась и в нескольких высеченных на камне магических формулах, и в позднейших свидетельствах греческих историков), строительство Дворца Советов и московского метро сопровождалось созданием разветвленного дискурса. Дворец Советов так и не был построен. Он остался на уровне дискурса, став сверхзданием, о котором позволено было только мечтать. Московское метро было построено, и как транспортное сооружение функционирует до сих пор. Но идеальный, патетический образ этого сооружения был закреплен прежде всего на уровне дискурса. Поэтому не следует путать анализ этого дискурса (главный тезис которого звучит так: «Лучшее в мире московское метро есть *не просто* транспортное сооружение») с описанием построенного в результате сооружения. Эти явления лишь ограниченно соприкасаются между собой. Меня в этой статье интересует, в первую очередь, метродискурс, совокупность речевых практик, завязавшихся вокруг строительства московского метро в 1930—1940-е годы.

Метродискурс систематически дереализует специализированные, профессиональные, технические языки, приобщая их к мощной мифологии сталинского времени, он создает внутри себя условия для овладения техникой, но лишь на уровне воображаемого, более того, с помощью дискурса или, если угодно, институционализованной речи не может быть построено ни одно техническое сооружение, и, если московский метрополитен работает до сих пор, надо предположить в духе того времени существование нераскрытого заговора инженеров, техников, рабочих, направленного против тотализации этого дискурса. В любом случае, метродискурс существует параллельно многочисленным техническим языкам, более или менее самостоятельным и индифферентным по отношению к его патетическим притязаниям на овладение пространством идеального. В этом смысле необходимой является неоднозначность фразы, произнесенной Л. М. Кагановичем на праздновании открытия первой линии: «Наш советский метрополитен — это не просто техническое сооружение». Тем самым косвенно признается, что это *также* техническое сооружение, что оно выстроено не просто в дискурсе. Впрочем, это «профанное» измерение метро сам Каганович объяснить не в силах: находясь в центре метродискурса в качестве одной из главных фигур, будучи частью порожденной большевизмом мифопоэтической стихии, он естественно воспроизводит ее.

Метродискурс интереснее романа своего времени, видимо, потому, что наиболее грандиозные вымыслы проходили в то время через подвергшуюся полной дереализации «жизнь». Наиболее функциональным был тогда не язык фикции (роман, картина, симфония), а объявленная упрямой историей, то, что когда-то претендовало на статус «жизни». Оторванная от истории жизнь становится художником себя самой, создает полотна, от которых исходит невыносимый для обычного глаза свет: «Жизнь наша — величайший мастер кисти»³. Возможности отдельного художника воплотить этот невыносимый, коллективный свет, это «немеркнувшее солнце», естественно, ограничены, как и его право на самоидентичность перед лицом бесконечно светящихся феноменов. Время, когда создавался метродискурс, с глубоким недоверием относится к истории, к прошлому и вообще ко всему, что создано им. Новый мир начинает все сначала на своих условиях: все унаследованное попадает под подозрение. Этот «адамизм», претензия на беспрецедентность и небывалость разрушает традиционную цеховую связь рабочих со своей профессией. Многие из первых работников метрополитена были старыми шахтерами из Донбасса и с Урала, часто связанными между собой родственными и семейными узами, все они начинали откатчиками вагонеток, и лишь после длительного периода ученичества получили право работать самостоятельно, становились мастерами. То же самое относится к представителям других профессий. И эти же правила они применяют к новичкам, мобилизованным партией и комсомолом с московских предприятий. Вчерашний конфетчик или слесарь должен, по их мнению, пройти весь тот путь, который прошли они сами. А на то, что новичок

комсомолец или коммунист, они не обращают внимания, считая, что это не имеет к их профессии никакого отношения. Они не понимают, что цеховой способ приобщения к профессии, длительное срастание с ней совершенно неприемлемо для строителя идеального социалистического сооружения, каким является московский метрополитен. Метростровец должен по приказу партии становиться из горняка кафельщиком, из арматурщика — плиточником. Срастание рабочего со своей профессией происходить не должно, ибо он изначально принадлежит новому коллективному телу, символизируемому партией. Любая специализация является с этой точки зрения случайной и преходящей, постоянной остается лишь ориентация на изменения, готовность по зову новой власти снова и снова начинать с нуля. Неспособные, не желающие принять или просто не принимающие этих беспрецедентных требований признаются принадлежащими «старому» миру; новый мир может их а) перевоспитать, б) использовать для подготовки людей с новой идентичностью и в) признать врагами и уничтожить. При этом врагами делает их не какая-то вина или осознанное неприятие сталинского строя (все это и многое другое приписывается им задним числом), а простое желание воспроизводить опыт действующей жизни. В основном они просто не понимают, чего хотят от них коммунисты и комсомольцы, люди с иной социальной идентичностью. Все эти специалисты независимо от возраста объявляются «старинщиками» и «маловеерами»: от них нужно как можно скорее взять их профессиональные навыки и двигаться дальше. Это, естественно, относится не только к рабочим, но и к архитекторам, инженерам, техникам, снабженцам, короче, ко всем тем, кто продолжает верить в силу опыта, расчета, калькуляции, кто забывает прибавить к схеме и чертежу мощный массовый энтузиазм, опрокидывающий любые расчеты и чертежи, реализующий якобы значительно больше, чем может постичь разум. Борьба с агентурой разума в рядах «новых людей» является одной из ключевых тем метродискурса.

Прибывающие на строительство кадровые горняки были, пишет один из авторов книги о метро, заражены цеховыми настроениями. «Конечно, в большинстве случаев эти цеховые настроения среди старых рабочих не носили злостного характера и быстро преодолевались». Но эти настроения использовались и «классовым врагом». Особенно трудно было прибывающим на строительство комсомольцам и коммунистам научиться работать в кессонах, под давлением сжатого воздуха. Между тем, старые кессонщики из бригады Романова говорили новичкам, что от работы в кессоне «схватывает за голову», что от нее гложут и *даже* теряют способность к половой жизни. Они также советовали есть побольше конфет или целовать заклепку аппарата. При спуске в кессон «романовцы» подавали воздух под слишком большим давлением, он давил на непривычные уши и причинял комсомольцам острую боль. Нечто подобное сообщают и другие авторы: старые кессонщики «говорили еще, что люди, работающие в кессоне, становятся непригодными к половой жизни»⁴. По этому поводу немало поступало запросов и к заместителю начальника строительства, тов. Авакумову, так что приходилось даже специально на эту тему читать лекции... Старые кессонщики действительно вскоре отошли на второй план... И тут на наших глазах складывался новый тип рабочего — сознательного, энергичного, инициативного строителя социализма»⁵.

Читая о страхе метростроевцев перед неспособностью к половой жизни и бесплодием, невольно думаешь, что новый человек также не был лишен очень древних предрассудков. На свой лад метродискурс магичен, он некритически заимствует из бессознательного перевоспитуемой, прежде всего крестьянской, массы ряд стереотипов. Отсюда понятна двусмысленность его отношения к технике, которая воспевается как универсальное спасительное средство и одновременно преодолевается, становясь жертвой непредсказуемых импровизаций.

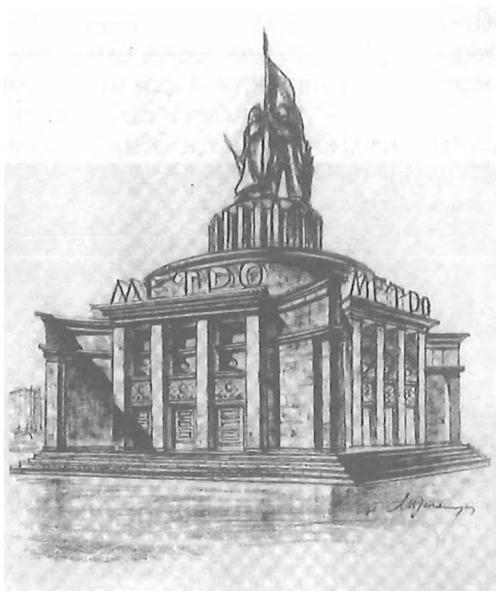
Авторы книг о метро делают вид, что борются лишь с буржуазным использова-

нием техники. Но поскольку промышленная техника была порождена буржуазией, никакого другого использования ее просто не существует, и при всей их видимой радикальности сторонникам метода непрерывных инноваций и импровизаций приходится довольствоваться компромиссом с «буржуазным» использованием техники. Бескомпромиссность возможна лишь на уровне институционализованной речи. Метродискурс представляет существенную связь техники и капитализма случайной (и в этом смысле он следует Марксу) и эклектически прививает технику к новорожденным индустриальным коллективным телам.

Все заимствованное из-за рубежа неизбежно приобретает специфически советские качества и размах. Если машина имеет определенные технические параметры, они оказываются существенно превышены. Импровизационность речи о метро такова, что исключает простое заимствование, использование и применение. Все становится иным из-за грандиозного характера стройки, все возводится в более высокую степень. Например, из Англии в Москву привозят щит для глубокой проходки, его производительность около двух метров тоннеля в сутки. «Одиннадцатого сентября английский щит прошел 4,52 метра, опрокинув все расчеты иностранных специалистов... Американский инженер Морган пожал плечами: “Я недооценил человеческий материал — я ошибся в людях, работавших на щите”»⁶. Или станция «Библиотека Ленина»: «Построенная по конструктивной схеме парижских станций (с той существенной поправкой, что наиболее парадная — центральная — часть отдается не поездам, как там, а пассажирам), она приобрела совершенно новые, советские качества»⁷. Кессоны также использовались на строительстве парижского метро, но не на такой глубине и не в таком масштабе.

Создается такое впечатление, что советский великан, позаимствовав что-то у буржуазного среднего человека, не может этим пользоваться до тех пор, пока не приспособит его для своего гигантского организма. При этом надо помнить, что тело великана — коллективное тело, оно не принадлежит никакому индивиду, между тем как буржуазный человек — это индивид или частная корпорация. Прежде, чем проводить сравнение, надо осознать всю глубину этого различия. Тогда, возможно, придется отказаться от сравнения.

Насколько ослепительно возводимое метростроевцами сооружение, настолько убог их собственный быт. Жили в необорудованных бараках по 10—12 человек в комнате, спали на топчанах, кроватей не было, как и сушилок. Зато были клопы. Но дело не только в трудных условиях, но и в отсутствии у многих рабочих элементарных навыков городской жизни; они месяцами не меняют постельное белье, ложатся на кровать прямо в рабочей одежде, не чистят зубы, сквернословят и т. д. Возможно, метродискурс и был создан как орудие первоначальной травмы форсированной и насильственной урбанизации. За примерами далеко ходить не надо. «На шахте № 2 мы выяснили, что кандидат партии тов. Коновалов часто выпивает, не читает книг, редко ходит в баню, не убирает своей койки. Другой кандидат партии тов. Желбакович прячет грязное белье под матрац, допускает неприличные выражения в общении, живет неряшливо. Мы... прикрепили к ним коммуниста, который помог бы им выправиться... Товарищи постепенно выправились»⁸. «Мы долго боролись, пока отучили комсомольца Савушкина ложиться на кровать в грязной спецовке и сапогах. Он... называл эти требования “интеллигентскими”»⁹. Людями «без самых элементарных навыков» называются также рабочий Матросов и уборщица Булгакова. «В комнатах барака № 6 стены были голые, в тумбочках — грязь и беспорядок, хотя сами хозяева этих тумбочек ежедневно чистили зубы, мылись после работы, одевали чистые костюмы и галстуки, а в тумбочках грязное белье лежало вместе с хлебом, ботинки рядом с капустой»¹⁰. Не всегда давали результаты попытки улучшить быт метростроевцев: «ведь были случаи, когда в бараках вешали на окна чистые занавески, подвешивали люстру, ставили зеркало. А под кроватями лежали груды сору, на кроватях грязное, месяцами не сменя-



Теплицкий Л. Станция метро «Арбатская», Москва. (1935)



Щусев А., Корин П. и др. Вестибюль станции метро «Комсомольская», Москва. (1952)



Орлова В. Московское метро. (1952)

емое постельное белье. Бывало и так, что шахты превращали один барак в образцовый, а остальные оставляли в прежнем состоянии. Борьба с этим было нелегко. Многие не понимали, что между культурным жилищем и борьбой за выполнение стройфинплана связь очень тесная...»¹¹.

Последнее замечание свидетельствует о том, что быт рабочих интересовал начальство не сам по себе, а как средство борьбы за выполнение плана. Так что прежде, чем сравнивать коллективного великана с обычным буржуазным индивидом, стоит повнимательнее присмотреться к тому, из каких клеточек состоит великан и какая цена заплачена за его выдаваемую за величие величину. Приведенные примеры взяты не из концептуальной литературы, но из тех же книг о метро, которые воспевают это идеальное социалистическое сооружение. Грандиозность строительства лишь подчеркивается убожеством быта самих строителей, богатство строительства — их нищетой. Невольно спрашиваешь себя: а может быть одно вообще возможно без другого? Может быть, функция метродискурса была прежде всего компенсаторной, заменой индивидуальной фрустрации коллективным триумфом?

Если принять эту гипотезу, становится яснее природа идеальности московского метро, природа света, исходящего от этих своеобразных, ни на что не похожих дворцов для народа. Метро и дискурс метро были как бы воображаемым убежищем против надвигающегося Трора, войны и других бедствий. В идеальном социалистическом сооружении не может быть смерти, вредительства, увечья. «В мраморном городе царит особый климат»¹². Воздух в нем близок к идеальной гигиенической норме и меняется шесть-семь раз в час, больше, чем в других метрополитенах мира. «В мраморном городе не может быть катастрофы»¹³. В кабине водителя каждого поезда метро находится «деревянный гриб» под названием «кнопка мертвого человека»: «Механизмы московской подземки никогда не пропустят поезда на запрещенный участок, даже если бы водитель был мертв или нарочно хотел бы вызвать катастрофу»¹⁴. Если в надземной Москве маниакально ищут вредителей, то в Москве подземной на уровне дискурса они по определению невозможны, исключены самой природой этого идеального сооружения (это так только на уровне дискурса: в опубликованных Мемориалом «Расстрельных списках» есть имена метростроевцев и работников метрополитена, объявленных вредителями). Своего апогея компенсаторная функция метродискурса достигает при объявлении этих дворцов для народа прообразом будущей надземной Москвы. Она должна прорасти изнутри, стать как бы надземным метро, засветиться столь же невыносимым светом. «И недалеко то время, — пророчествует один из авторов, — когда пассажир, поднявшись по гранитной лестнице московской подземки, увидит себя в новом городе, таком же стройном, удобном и просторном, как мраморный город метрополитена. Скоро в Москве будет так же хорошо, как в метро под Москвой»¹⁵. В таком случае компенсация приобретает тотальный характер. Коммунизм и был такой воображаемой тотальной компенсацией реальной травмы: это, пожалуй, единственная роль, которую он выполнил до конца. Он исчез, когда изменилась природа и масштабы самой травмы.

Качество подземности в метро тщательно маскируется особым, иллюзионистским освещением станций. Все должно быть как на земле и немного светлее. Это ослепительно светлое пространство есть также пространство культуры: культурное поведение и обслуживание является в нем нормой. Правда, культурным признается авторами книг о метро одетый в пиджак человек, надушенный дешевым одеколоном, который спит на чистой кровати, содержит в порядке личные вещи, читает книги и газеты и один раз в месяц ходит в кино или в театр, демократически приравненные друг к другу. В лучшем случае он или она еще увлекается парашютным спортом («гордостью Метростроя справедливо является планерный, парашютный и летный спорт»¹⁶). Собственно метро является культурным пространством

такого человека, если он вообще существовал. В отличие от частной жизни, применительно к метро вводится запрет на грязь. Это понимают даже дети. Один шаловливый ребенок не решается выплюнуть косточку от конфеты, так завораживает его чистота этого культурного сооружения. «Бегущие ступеньки эскалатора подняли первый класс Б на землю. И тогда Колька, надув щеки, что есть силы выплюнул что-то.

— Что ты плюёшься? — спросила Анна Михайловна.

— Да, чего... — сказал Колька, — А я, когда мы спускались, конфету съел — сахарная вишня, а в ней косточка. Она у меня во рту осталась. Так с ней и ездил... Чуть не проглотил...

— Да почему же ты раньше ее не выплюнул? — спросили у Кольки.

— Ну да, раньше — сказал Коля-Колька, — Там так везде красиво и чисто, что мне жалко было выплюнуть. Я уж лучше потерпел»¹⁷.

На более профанном уровне такое поведение может объясняться тем, что работники метро были одеты в военную форму и что там была установлена достаточно совершенная для того времени система слежения. Кроме того, то ли тогда в метро не было урн, то ли пораженный великолепием мраморного города ребенок воспринимал и урны как часть декора и не решался использовать их или не понимал их назначения.

Метродискурс претендует на крайне высокую степень наглядности, он бесконечно приводит примеры, подсчитывает, сравнивает и сопоставляет. Впрочем, подсчеты и сравнения ведутся не в практических целях, а для того, чтобы сделать саму власть наглядной. Советская власть должна становиться все более и более наглядной, все разъяснять на пальцах, потому что она имеет дело с людьми, обладающими пока лишь коллективной идентичностью (и потому — малообразованными). В этом смысле метродискурс близок к речи самого Сталина с его пристрастием к наглядности. За этой наглядностью не скрывается организующая мысль, делающая целое более понятным. Это наглядность в ее непостижимости, язык возвышенного, которое постоянно пытается выдать себя за прекрасное. Стремление сделать профессиональные языки понятными широким массам не имеет ничего общего с просвещением. Из сравнения работы в кессоне с открыванием бутылки лимонада мы не узнаем ничего нового. «Кровь кессонщика, подобно фруктовой воде, сжата под сильным давлением. Человек, стремительно поднывающий на поверхность, как бы откупоривает пробки своих кровеносных сосудов... Теплый лимонад надо открывать постепенно. Кессонщика надо выпускать на поверхность не спеша»¹⁸. На первый взгляд сравнение стерильно. Но все-таки какое-то приращение происходит: бесконечное становление наглядным подчиняет профессиональные языки единому, самому себе равному свету, который несет партия. Неслучайно так обстоятельно обсуждается, что, каким образом и как будет освещено. Наглядность также освещает, направляя на сложное простой, кажущийся неразложимым луч. Но на поверку этот луч, эта простота сложнее самого сложного. Если метро не обычное транспортное сооружение, то тогда что оно такое? Какой пример может сделать это наглядным? Обычный пример является демонстрацией принципа, применением его к частному случаю. Наглядность же сталинского типа *сама является принципом* — поэтому она непостижима в своей декларируемой простоте. По сути это отнятая у профессионалов речь. Она напрямую зависит от существования специализированных языков, несводимость которых отрицается лишь на риторическом уровне (но идеология, собственно, и есть ставшая массовой риторика).

Парадоксальным образом метродискурс нуждается во внешнем ему, хотя бы в целях его преодоления: собственный «адамизм» он отстаивает в упорной борьбе. Он создает впечатление, что ведет борьбу за некие идеалы (коммунизм, мировая революция, ликвидация социального неравенства), между тем как война является

единственным способом его существования. Призыв, мобилизация, чрезвычайное положение являются нормальным режимом работы этой речи. В известном смысле в ней нет ничего чрезвычайного, но только более развитая субъективность способна постичь эту патетику как нечто временное и увидеть источник пафоса в ее необычайной хрупкости. Метродискурс — это такая логика событий, которая заблаговременно избавляется от субъекта, разрушает пространство созерцания. Теперь понятно, почему Л. М. Каганович разбирается в архитектуре лучше архитекторов, в горных работах лучше шахтеров и в электротехнике лучше электриков. Речь здесь идет об уже упраздненных с помощью процедуры тотализации языках. «Каждый из инженеров Метростроя и рабочих знал хорошо только свой участок работы. Лазарь Моисеевич хранил у себя в голове точное представление обо всех процессах подземной стройки. С инженерами он разговаривал как инженер. С архитекторами — как архитектор. С проходчиками — как проходчик»¹⁹. Ему также приписывается качество вездесущности и неутомимости: «Метростроевцы часто спрашивали себя, когда же отдыхает Лазарь Моисеевич... Даже находясь вне Москвы, Лазарь Моисеевич продолжал руководить Метростроем»²⁰. Многие тексты свидетельствуют о ликовании, охватившем людей при виде партийного вождя, при получении значка его же имени. Но и вожак московских коммунистов является всего лишь проводником более сильного света, исходящего от имени Сталина (излишне повторять, что имя Сталин не зависит от человека по имени Сталин, не является его атрибутом: Сталин-человек есть лишь один из модусов существования собственного имени).

Метродискурс правильно упаковывает это имя, держит его на достаточном расстоянии для того, чтобы сделать стройку возможной, а свет не чрезмерно ярким. Знаменитый Дворец Советов не был построен, в частности, и потому, что Сталин сам стал давать конкретные указания, сам стал участвовать в его проектировании, так что вскоре построение этого здания стало технически невозможным из-за грандиозности его размеров. Возвышенное вросло в саму плоть этого здания, превратив его в чисто дискурсивную конструкцию, мощь которой, впрочем, трудно переоценить. В глубоком смысле вся архитектура эпохи Террора выросла из этого не построенного в реальности, но сверхреализованного в дискурсе строения. В случае метро — может быть, потому, что речь шла о совершенно необходимом транспортном сооружении — это имя благоразумно вынесено на самый край дискурса, что делает строительство возможным. Имя-Сталин издали проявляет «заботу» о советском человеке, и из-за своей дистанционности эта светоносная «забота» не ослепляет, хотя и превосходит дневной свет.

В отличие от платоновских эйдосов, у архетипов коллективной речи нет первоформы, из которой их можно было бы вывести с помощью правила. Но и у импровизации есть свои законы. Так, для того, чтобы существовали обычные ударники, метродискурс производит на свет двух и только двух «образцовых ударников» — Кагановича и Хрущева. «По ним равнялись наши лучшие ударники»²¹. Образцовые ударники — это ударники по определению, в отличие от всех других им не надо доказывать свое право на это звание, оно принадлежит им естественным образом. Упоминается, что они всего лишь раз работали в забое. «Во время субботника на шахте № 7 здесь работали тов. Каганович и Хрущев. У них был заключен соцдоговор со сменным инженером — по этому договору они перевыполнили план на 162 процента. Тов. Каганович работал лопатой и топором, как заправский рабочий»²². Что до имени «Сталин», оно даже не нуждается в том, чтобы именоваться «образцовым ударником». И это логично: ведь это имя создает саму возможность ударничества и в силу своей неназываемости вызывает к жизни сложную иерархию ударников, значкистов, орденосцев (в титрах фильмов сталинского времени всегда указывалось, что актер или актриса являются орденосцами, как если бы это имело отношение к качеству их игры или исполняемой

роли). Имя вождя является смыслопорождающим, но, порождая смысл, оно парадоксальным образом превращает его в нонсенс, потому что отсутствуют критерии смыслопорождения. И эта импровизация длится бесконечно.

Не объясняется и то, как происходит преобразование некультурного метростроевца в культурного. В лучшем случае, как в раннехристианском житии, благодать нисходит на него после беседы с парторгом, покупки на общественные деньги новой кровати или отселения от родственников жены. Если эти простые средства не действуют и некто не хочет вступать в новую жизнь, он переходит в разряд врагов и должен перевоспитываться другими средствами (какими, не говорится). Задним числом врагу приписывается чрезвычайный демонизм. Многие из приписываемых ему злодеяний были совершенно излишними и должны были служить доказательствами того, что он был обураваем необычайной ненавистью к новой власти. «Некий Шишков, машинист компрессора на 15-й шахте, предлагал рабочим требовать повышения зарплаты, ссылаясь на трудности работы, а сам запускал компрессор на холостом ходу, оставляя шахту без воздуха. По вине этого негодяя были потеряны сотни рабочих часов. В своей ненависти он доходил до того, что перерезал электрические провода, чтобы вызвать панику среди рабочих, бросал сверху в ствол шахты камни, вел антисоветскую “обработку” малосознательных землекопов из татарской бригады и т. д.»²³. Характерно это «и т. д.», уводящее нас в бесконечность преступных деяний Шишкова. Как могли шахтеры работать без воздуха? Зачем «враг» бросал в шахту камни? Абсурдный или нереалистичный характер этих действий можно объяснить неопытностью мобилизованных на строительство рабочих, коллективным, собирательным образом которых становится «враг». Видимо, его злему умыслу задним числом приписывалось то, что было плодом неопытности и действительно вызывало аварии. Враждебность предполагала бесконечность вины, в том числе и прежде всего за несовершенное. В этом смысле враг внутри метродискурса был зеркальным отражением Сталина. Если один нес за происходящее всю глубину харизматической позитивной ответственности, то другому приходилось взваливать на свои плечи всю глубину ответственности негативной. Потребность в фигуре врага была так велика, в частности, и потому, что на него списывались издержки большевистских импровизаций. Соблазн заполнить оставшееся пустым местом субъекта, можно сказать, пронизывает метродискурс, но все эти усилия лишь усугубляют простоту, демонстрируют ее принципиальную незаполняемость. Эта речь постоянно апеллирует к имени вождя, излучающего особую «заботу». Но любое новое воплощение этого имени, его вступление в игру опосредований грозит лишить его ореола сакральности, хотя и полностью отказаться от воплощений также невозможно — тогда свет не дойдет до освещаемых объектов.

Как уже сказано, метродискурс постоянно оперирует какими-то числами, но это не имеет отношения к точности и расчету. В основном эти числа призваны демонстрировать миру грандиозность стройки, ее беспрецедентный размах. 540 заводов работали на метро. Было завезено 150 тысяч вагонов с материалами и оборудованием. Была уложена 21 тысяча километров мрамора и т. д. Такие выкладки можно назвать статистическими. Но есть вполне произвольные исчисления, имеющие целью наглядность. Так, оказывается, метростроевцами было съедено 170 миллионов булочек длиной в 10 тысяч километров. Если составить поезд из всех вагонов с грузами метро, он также составит 10 тысяч километров (расстояние от Москвы до Владивостока, практически длину советской империи). В одном из текстов о метро выведен некий «старый инженер», который все время рисует, делая наглядными указания партийного начальства. «Уложить 21 000 квадратных метров мрамора» — приказывает Каганович. И тут же инженер рисует пятиэтажный дом длиной в три километра: столько мрамора ему предстояло уложить²⁴.

Метродискурс не дает нам механизма разрешения собственных конфликтов.



Кадр из фильма Г. Александрова «Светлый путь» (1940)

Скорее всего они разрешаются насильственным путем, но насилие нельзя допустить в лоно и так уже насильственного, милитаризованного, ориентированного на *виртуальную тотальность* дискурса. Нечеловеческие фигуры врага исчезают, проваливаются в никуда. Что стало с «романовцами», которые предательски предлагали комсомольцам есть конфеты перед тем, как спуститься в кессон? О том, что стало с этими кулаками и подкулачниками — ни слова. Метродискурс слишком близок к смерти, слишком пропитан ею изнутри, чтобы опуститься до обсуждения подробностей конкретных смертей. Он слишком потенциален, устремлен в будущее, чтобы прошлое могло обрести в его рамках хотя бы подобие значимости. Он не допускает в свое лоно ничего «старого». Он сладострастно разрушает ветхие дома, освобождая дорогу новому миру. Эта речь не выносит материальных доказательств существования смерти. От них избавляются как можно скорее. Один из строителей станции «Дворец Советов» сообщает: «Большое количество черепов и костей, много надгробных плит было извлечено из котлована. Здесь нашли успокоение “девица Евдокия”, “девица Евпраксия” и им подобные “бывшие” люди XV века. Археологи бережно увезли все находки»²⁵. «Бывшими» называют не только покойников и тех, кто хочет жить по-старому. Все церкви являются «бывшими» зданиями; их следует сносить, чтобы строить на их месте и из них что-то полезное. Вот цитата из детской книжки о метро: «Наша Остоженка снова стала скучная и булыжная. Немного повеселее было, когда ломали церковь. Но ее ломали только три дня»²⁶. Церковь пошла на щебенку для метро. Хотя на что-то пригодилась, вздыхает автор. В том же тексте утверждается, что метродискурс никогда не смогут понять фашисты, буржуи и очень старые люди, по разным причинам являющиеся «бывшими». Они поражены онтологической слепотой в отношении того нового, что происходит на их глазах. Зато большевики, в противоположность им, обладают неправдоподобно острым зрением: «Большевики знают в точности, какой будет Москва, и каждый наш город, и весь СССР, потому что большевики видят вперед и за год, и за пять лет, и за десять лет и больше»²⁷. Благодаря их видению все прекрасно видим и «мы». «Как будто мы смотрим в чудесную трубу и видим через много лет и Москву, и каждый наш завод, и каждый колхоз, и свой дом, и свою страну. И так хорошо, так отчетливо видим, что можем взять бумагу и картон — и все это склеить»²⁸. Это ясновидение, видимо, выполняет защитную функцию, отдавая на откуп будущему и потенциальному то, чего катастрофически недостает в настоящем. Метродискурс — это бегство из настоящего в парадоксальное грамматическое время, предвосхищенное будущее, будущее-в-настоящем; точнее, это настоящее время в той мере, в какой оно не растворилось в своих конкретных проявлениях, сохранив утопический потенциал. Все события этого дискурса не только не принадлежат субъекту, но в принципе несоизмеримы с конечной способностью постижения. Для отдельной личности они стерильны, а в период своего совершения еще и смертельно опасны.

Подведем некоторые итоги.

Метродискурс несомненно обладает параноидальными чертами, но это паранойя, которая, приобретя форму теории, стала несводимой к болезни. Более того, непонятно, куда общество, создавшее метродискурс, помещает болезнь. Создается впечатление, что в нем нет места для болезни, что место больного занимает вредитель, которого лечат суровым наказанием. В литературе о метро болезни его строителей упоминаются как мелкие докучливые эпизоды, необязательные вкрапления между их героическими делами. (Все это, без прямой отсылки к сталинской действительности, прекрасно описано в книге М. М. Бахтина о Рабле). В метродискурсе трудно выделить личность; имена собственные фигурируют в нем как привязанные, прикрепленные к техническим приспособлениям, протезам: «тормоз системы Матросова», «лопата Разина», «система водоохлаждения Воробьева». Эта завязанность на имена придает приспособлениям псевдоличностный характер, на-

глядно иллюстрируя пронизывающий метродискурс принцип наглядности.

Время расцвета метродискурса приходится на 1935—1945 годы. Постепенно он переходит в изображения, растворяется в более конвенционально понятой наглядности. Если первые станции метро были аскетичны в образном отношении (исключением, и то условным, можно считать станцию Комсомольская-радиальная), то послевоенные станции, особенно Кольцевой линии, поражают обилием живописных, скульптурных, мозаичных и других образов. Это как бы дискурс для народа. Неслучайно именно эти станции привлекают наибольшее внимание фотографов-туристов. Непосвященному взгляду именно они представляются апогеем сталинской культуры, хотя с точки зрения логики более строгой они представляются уже декадансом, необязательными иллюстрациями к метродискурсу, целью которого была переплавка специальных языков в дискурс. Стены, потолки, полы станций теперь покрываются мозаикой, бронзовым литьем, витражами, на которых запечатлеваются деяния «новых людей», дружба народов, победа в войне и т. д. По сравнению с этим изобилием первые тринадцать станций первой очереди, казалось бы, просто блекнут. Их создатели стремились поражать сочетанием различных видов мрамора (существовала целая «философия мрамора», которая может стать предметом отдельного исследования), необычайностью архитектурных решений, но не простым перенесением своего главного референта, Народа, на поверхность. В послевоенных станциях народ торжествует над своим ортодоксальным идеологическим образом, не поддающимся пластической фиксации. Первоначальная форма дворца сменяется чем-то вроде Дома культуры, агитация становится наглядной, народ отдается своей спонтанности, а не конструируется с помощью ортодоксальной речи. Народ стремятся убеждать, демонстрируя ему фрагменты собственной истории. Тем самым окончательно разрывается связь возвышенного и прекрасного, проходившая через насильственные речевые практики.

Параллельно возрастающей орнаментализации дискурс выдыхается. Уже не пишутся книги об идеальном социалистическом сооружении. Книгой становится само метро, повествующее не о намерениях его строителей, а об их идеологизированном прошлом. После победы во Второй мировой войне у СССР появляется общепризнанная история, не связанная с диктатурой пролетариата и мировой революцией, советский народ конституируется как суперэтнос, получает (в том числе и из рук мирового сообщества) вторичную национальность. Техника строительства метро рутинизируется, перестает относиться к области возвышенного; метро искупает свое становление «простым техническим сооружением» пышной орнаментацией. Но такое решение не является надежным. Народ остается наедине со своими патетическими и несовершенными образами, и в этих зеркальных отражениях обретает некое подобие пространства созерцания. За своеобразным советским вариантом «барокко» маячат «безликие» станции хрущевско-брежневского периода. В нарастающей орнаментализации уже заложен конец империи: окончательно он оформляется к середине восьмидесятых годов в панно на станции Боровицкая, которое можно условно назвать Имперским Деревом, где империя предстает в виде яблони, простирающей свои ветви над Кремлем, а народы СССР — яблоками, расположенными в строго установленном порядке. Это панно — карта распада, спонтанная критика имперского бессознательного (хотя никто не смог бы предсказать, что после ввода в эксплуатацию станции Боровицкая Советский Союз просуществует всего несколько лет). Орнаментализация отражает то, что террор медленно идет на спад, становясь называемым, точнее, наглядным. Основанные на насилии общества, как известно, очень быстро стареют. Советское общество не составляет исключения из этого правила — просто для него любая «гуманизация» равнозначна распаду. Распад архитектурных пространств времени метродискурса исторически прогрессивен, способствует меньшему угнетению отдельной личности, признанию — пусть негативному — ее права на существование.

Хотя возвышенное проявляется в эпоху метродискурса в наиболее чистом виде и даже иногда кажется сверхпрекрасным (иллюзия, которую охотно ратифицируют некоторые исследователи сталинской культуры), не следует путать удовольствие от исследования рафинированного, очищенного от посторонних примесей явления, с условиями тогдашней жизни, с онтологическим ужасом существования в стране, которую Андре Жид справедливо назвал менее свободной, чем нацистская Германия.

По возможности соблюдая введенное Мишелем Фуко «правило имманентности» при анализе дискурсивных практик, стараясь не привносить в них позднейших напластований, вместе с тем нельзя поддаваться обаянию их пафоса, делая вид, что эти практики действительно совершили то, что всего лишь провозглашали. По-человечески желание выдать возвышенное за прекрасное понятно, но не надо забывать соотносить его простотой, замкнутый на себя самого нарциссизм, эту вечную массмедийную стадию зеркала, с миллионами реально уничтоженных тел. Имманентность анализа не предполагает умножение нашей собственной жизни и неизбежное последствие этого — произвольную эстетизацию того, что не имеет к этой жизни непосредственного отношения. «Правило имманентности» имеет своим непосредственным продолжением то, что можно назвать несоблазняемостью: сознание того, что мы не можем быть ни строителями метро, ни стахановцами, ни вообще людьми другой эпохи. Основой постижения остается безличный факт письма, умение не оставлять на листах истории отпечатков своих пальцев, как это делал Сталин на одалживаемых им книгах. Признавая несводимо коллективный характер возвышенного, тем самым отрицают за собой возможность отождествления с ним.

Сколько людей погибло за время строительства первой очереди московского метро? Если мы и знаем об этом, то, конечно, не из метродискурса, а из тайных архивов, если они случайно уцелели. Как реально взаимодействовал с метродискурсом целый веер специализированных языков? И это скажет нам не метродискурс, а сохранившиеся чертежи, графики, схемы. Но даже если ничто не сохранилось, возвышенное не может стать прекрасным *post factum*, по воле исследователя. Ибо жизнь других людей точно также несводима, как и наша собственная; в этом смысле у нас нет перед ними никакого эпистемологического преимущества.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 3. М., 1971. С. 41.
- 2 Там же. С. 33.
- 3 Пять лет Московского метро. М., 1940. С. 51.
- 4 Как мы строили метро. М., 1935. С. 50.
- 5 Там же. С. 37.
- 6 Лопатин Н. П. Метро. М.; Л., 1937. С. 105.
- 7 Пять лет Московского метро. С. 57.
- 8 Там же. С. 77.
- 9 Там же. С. 162.
- 10 Там же. С. 169.
- 11 Там же. С. 166—167.
- 12 Пять лет Московского метро. С. 149.
- 13 Там же. С. 139.
- 14 Там же. С. 147.
- 15 Там же. С. 158.
- 16 Там же.
- 17 Готов! Рассказы и стихи о метро. М., 1936. С. 46—47.

18 *Лопатин Н. П.* Метро. С. 70.

19 Там же. С. 123.

20 Там же. С. 88.

21 Как мы строили метро. С. 64.

22 Там же. С. 63.

23 Там же. С. 55.

24 *Лопатин Н. П.* Метро. С. 126.

25 Как мы строили метро. С. 631. В нахождении этих останков нет ничего удивительного. Они принадлежат монахиням Староалексеевского монастыря, на месте которого был в XIX веке построен Храм Христа-Спасителя.

26 Готов! С. 88.

27 Там же. С. 6—7.

28 Там же. С. 8.